

*Вячеслав Аносов*

ВЕТРЕННЫЙ ДЕНЬ  
В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА

Злое солнце и пыль прилипают к потному лбу. Лоб высокий. Отец осторожно проводит ладонью от бровей к затылку — так когда-то приглаживался чуб. Теперь же плешь блестит нестерпимо. И столько морщин. Их хватило бы еще на одну голову. Он долго смотрит из-под дрожащей руки куда-то вперед. Ему ли с его глазами вглядываться? Мои глаза моложе, но меня он не спрашивает. А вижу я далеко.

От горизонта до горизонта раскаленная и накатанная, как сталь, прямая дорога. Редкие деревца шатаются на ветру по обеим ее сторонам. А за ними гаражи и базы, стройки и опять гаражи. Бетонные заборы, кирпичные заборы, железные заборы, и машины, машины, машины. Бесконечная вереница машин. Вижу землю, выжженную, словно пепел, и кусты серых трав. Кольца бетонных труб смяты чудовищной силой и навечно заброшены в лебеду. Где-то рядом истошно вопит бульдозер, насилуя землю. Как перерыта она! Сколько гари и пыли уносит ветер туда, где деревья стоят над арыком с холодной водой. Наконец он берет прислоненную к ноге клюку и спешит вдоль движения словно связанных невидимым тросом автомобилей. Я почти уверен — он останавливается лишь затем, чтоб перевести дух, и это не он, а я, когда дойдем до бензозаправки, буду знать, где кладбище.

Когда-то на ее месте стояло под колючими акациями несколько глинобитных домов. С акаций свисали «ремни» с жесткими, как железо, семенами и горько-сладкой пастой, с запахом горячим и пьянящим. А иглы, защищавшие ветви и ствол, были огромны. С палец и длиннее. И почти у каждой иглы на самом уязвимом месте, у основания, подрастало по две, по три иглы, коротких, но таких же острых и крепких. Потом деревья спилили, дома разрушили и раскатали бульдозером под будущую площадку для заправки автомо-

билей. В одном из тех домов жила девочка. Она была коричневой и гладкой, как косточки тех акаций. Только шрам на первом суставе указательного пальца был совершенно розовым. Почти таким, как ногти на ногах или как губы, но еще нежнее, чем губы. И порой казалось, что если сожмет она эту руку в кулачок, крепко-крепко, то выступит кровь.

Когда ее дом сносили, я уже не подстерегал ее на остановках и не ревновал. Я и не знал, что дом снесли, пока не пришлось проехать с другом по этой дороге. Мне из кузова хорошо было видно, что нет больше тех домов и акаций и уже никогда не будет. От бензозаправки мы ехали еще километра четыре. Затем повернули влево. Влево и вниз. Через бахчу, через капустное поле, словно скованное инеем, мимо стволов изуродованного ежегодными подрезками тутовника, вдоль арыка, до краев наполненного водой. Там, на берегу, заросшем талом, уютно разместились два аккуратных домика, и над частью двора у стены возвышался навес. В его тени два мастера немудреным инструментом били скот, а кровь по желобкам спускалась в реку. Она плыла и растворялась в ленивом потоке, попадая то в солнечные пятна, то в редко дрожащую тень. Была осень. Желтые листья падали в воду и тихо плыли рядом. Они были похожи на желтые босоножки на коричневых от загара ногах и узкими, словно рыбки. А настоящие рыбки, или лишь тени их, стайкой метались в крови. Меня мучило. Прежде чем очередь дошла до нашего кабана, пришлось смотреть убийство двух быков, видимо, так ничего и не понявших. Я не люблю об этом вспоминать. Такое могло случиться со всяким. Друг, которому я помогал привезти кабана, обещал никому не рассказывать. Когда мы сидели в грузовике и мясо тряслось у наших ног и еще воняло жизнью, он положил мне руку на плечо и что-то сказал. Но я не просил его ни о чем, а он еще раз обнял меня с чувством неоскорбительного превосходства.

Пацанами мы были тогда. Я понимаю. Но разве это что-то меняет? Даже если нет теперь ни его обещания, ни кабана, ни моего трепа о девочке под акациями — что-то осталось. Всегда что-то остается, даже если не остается ничего.

Впрочем, теперь нет и бензозаправки. Отец растерян. Там, где когда-то жалась к обочине будочка с шестью оранжевыми аппаратами, теперь огромная скоростная развилка — неживое простран-

ство, отнятое машинами у людей. И не найти здесь места ни будочкам, ни деревьям.

Странно же мы смотримся. Он в черном пиджаке и брюках, запыленных до колен, с клюкой и старой женской сумкой, я — с дверцей холодильника на спине. Почему, исполняя волю отца, я так часто чувствую себя идиотом?

— Да-а, — вздыхает он, совершенно сбитый с толку, и, тыча клюкой в асфальт: — Землица была...

Я его почти не слышу, да и говорит он не мне.

— ...Капустка, клубничка...

«Какая капуста? — недоумеваю я. — Капуста была много дальше!» Но молчу. И потом, кто знает, возможно, на месте акаций было когда-то капустное поле, а про акации он мог и не знать.

— Теперь прямо в сторону ипподрома, — подсказываю. — Ведь так?

Он, не оборачиваясь, кивает головой и вдруг переходит дорогу. Рискованно, неловко, почти бегом, и вовсе не надо нам ее переходить. Но зато я вижу его следы — маленькие пыльные шажочки, по которым уже проносятся колеса, промокая их. Вижу его черную фигуру на полосе шевелящихся трав, непрестанно припадающих друг к другу сухими, лишенными жизни, телами. Он уходит. И хоть бы оглянулся! Хоть бы почувствовал, что меня с ним нет!

— Папа! — кричу я. — Да что же ты?!

Я догнал его, когда он готовился перебежать поток автомобилей, мчащихся в обратную сторону.

— Не туда нам, отец, — кричу я, стараясь перекричать рев моторов. — Холм-то вон где! И тополя...

— А там тебе что, не холм? — кричит он в ответ и тычет палкой вдаль.

Там, за хлопковым полем, серебрится кронами погруженная в зыбкость знойного дня группа тополей.

— Тополя-а-а, — передразнивает он меня и долго смотрит в сторону кладбища. — Тоже мне, тополя. Разве такие тополя над кладбищем?

Действительно, те тополя, что ему приглянулись, нравятся и мне, но не нам выбрать место захоронения.

— Ты ведь сам говорил, что возле ипподрома, — напоминаю я.

Он раздумывает, а меня с железной дверцей на спине раскачивает ветер. К тому же, я знаю, ипподром находится за холмом и увидеть

его отсюда невозможно. Так ничего и не решив, он бредет между двух автомобильных потоков. Метров через триста кричит двум пацанам, проезжающим на арбе, до отказа набитой свежескошенным клевером:

— Эй, скажи! Кладбище там?

Узбечата что-то бурно обсуждают, а осел тянет арбу мимо нас, и их то и дело заслоняют машины. И когда я подумал, что отец останется без ответа, они закричали разом:

— Русский?

— Русский, русский! — кричу я.

Господи, что о нас думают водители этих машин? Арба все удаляется.

— Там, на горка! — кричит вдруг один из них что есть мочи.

Отец молчит. Я тоже молчу. Мы вернулись на тротуар и продолжаем путь к кладбищу. Мы молчим потому, что и так все понятно. Что бы мы ни сказали теперь, звучало бы или как оскорбление, или как оправдание, а никто из нас ни прав, ни виноват. Виновато время, похожее на долгий молчаливый подъем, в конце которого автобус с черной полосой и цветы под рваные звуки фальшивого оркестра. И лишь забравшись на вершину холма, отец останавливается и говорит, словно досадуя на все неудачи разом:

— Эх, мама!

А мне нечего сказать. Я представил уютную могилу в глубокой тени, вдали от ветра и машин, — в которой лежит моя бабушка, а скоро ляжет и он, а скоро...

Когда мы снова встретились, она была уже не девочкой, и это меня не огорчило. Правда, приходилось опасаться бывших ее, но сначала мы могли быть осторожными. Потом уже не могли. И не хотели. И не опасались. Я брал с собой ножичек с синей пластмассовой ручкой, который вполне успокаивал нас. И если мне еще будет когда-нибудь хорошо, то лишь так, как было тогда. Но их-то мой нож успокоить, разумеется, не мог. Они верили, что меня просто будет затолкать в дерьмо, и, пожалуй, не ошибались. Теперь бы я такого уже не смог. Возможно, это и называется «умнеть»? Я и тогда понял, что они почти угадали, потому и ткнул того, белобрысого... Но хуже всего то, что я его еще увижу. И его, и ее. И боюсь, что встреча состоится в тот час, когда мне будет безразлично, на что и как меня толкают. Или когда видеть его живым станет невыносимо...

Отец двинулся по могилам с карты на карту. Он явно забыл могилу своей матери, и мы вместо того, чтоб идти по дорожке, тычемся меж стволов, оград и крестов. Он пристыжен и мрачен, и тяготеет моим присутствием.

Странно устроены мы. После того, что тогда получилось, я уже не мог, не хотел ее видеть, но вспоминал очень часто. То проклинал, то прощал, а кого — так и не понял. Весело было с ней. Кому-то весело и теперь. Все прошло, говорю себе, все прошло. Но видится мне за раскачивающимися пятнами света и тени, словно в ленивом полусне, ее незримое присутствие. Словно там, в зеленом сумраке, в обморочном колебании тугих стволов, еще сохранилось веселое желание ее. Наконец отец нашел, что искал. Подошел к кресту, заросшему полынью, и, вероятно, для того, чтобы было слышно под землей, сказал громко:

— Вот. Прости, мама. Пришел. — Опустил сумку на траву, переложил клюку из руки в руку и, взяв меня за локоть, добавил: — С внуком.

Могила была убогой. Просто брошенной. Слева, впритык, подселили соседа и уже сварили монументик, и отгородились от бабушки моей крученой решеткой из металлического прута. В общем, она и здесь обитает так, как привыкла при жизни. Мне кажется, я узнал бы ее могилу, если б даже пришел без отца. Впрочем, где нет таких могил? Там, откуда я вернулся, кладбище называли погостом, и все могилы были почти такими. Над ними стояли березы, и каждый вечер я мог их видеть, и видел очень часто — то во время ясного заката, то в хмурость и в дождь, то под снегом глубоким, то в побегах травы. Даже когда не хотелось. Впрочем, больше и не на что было смотреть.

Мы сидим на узкой скамеечке и молчим, словно посторонние на остановке. Я прикидываю, как бы сделать стол, используя дверцу холодильника. Но как ни прикидывай, а стол такой величины ставить негде. Значит, сегодня нам придется обходиться скамеечкой. Отец, судя по торжественности лица, еще не знает об этом.

Мало-помалу мной овладевает раздражение. Да, он не знал, что к матери втиснут соседа. А мог бы и знать, если б не стал инвалидом. Он, возможно, и не стал бы инвалидом, не разглядывая я так долго березы в чужом краю. Да и я бы не оставил их, если б дал над собой поглотиться. А теперь, пока я где-то мотался, сюда понавозили гранита и

черного мрамора, позолотили звезды и кресты, понакрутили оград из чугуна и железа, и если жмурики, согласно рангу и достоинству надгробных безделушек, ночами сходятся позубоскалить, покраснобайствовать или суставы размять в предутренней прохладе ночи, тогда я убежден — она за две конфетки чужого поминанья кому-то чистит гроб и снова Бога молит, чтоб не оставил благостью Своей.

— Отмучилась, — вздыхает мой родитель, словно это и было целью ее рождения. Я достаю из сумки вино, стакан, два помидора, немного хлеба и конфет. Воды рядом не видно, а в стакане какие-то крошки. И тень не настолько густа, чтоб забыть о жаре, о ветре. С листьев слетает пыль и какой-то мусор, и об обратной дороге тоже следует помнить.

— Любила тебя, — говорит отец, наливая, но я не помню никаких проявлений любви ни с ее стороны, ни с моей.

Она жила не с нами, и я редко к ней заходил. А когда она приходила к нам, то до неприязни долго извинялась. Мою маму называла сношенькой, но они не любили друг друга. Она плакала всякий раз, как получала письма от сыновей, и всякий раз приходила к нам, потому как читать не умела. И каким бы ни было письмо, она плакала так, словно война все еще продолжалась. И еще я видел, как она молилась.

— Спаси и помилуй, — бормотала она, стоя на коленях перед этажеркой в углу. — Спаси и сохрани, — и дальше по старшинству: — раба Алексея, раба Николая, раба Александра, раба Петра...

Мы в то время проходили рабовладельческий строй, и рабы мне представлялись голыми и сильными, бесстрашными и с короткими мечами в загорелых руках. Ближайшим стадионом был «Спартак», и тренера звали Спартак, и мы его очень любили. А за стадионом стоял вонючий кинотеатр, в котором мы смотрели Ихтиандра и в котором я встретил девочку со шрамом на указательном пальце. И только в зоне я узнал, что Спартак спился. Вот так все и было.

Мы молча пили и ели, и все было бы нормально, если б отец не продолжил разговор:

— Носки связала тебе, помнишь?

Да, носки действительно пригодились. Я выменял на них двое суток лазарета. И пришли они вовремя. Я сошел бы с ума без этих двух дней.

— Труженица была. — Помолчал, подумал, дожеввал: — И мастерица.

Почему ему кажется, что обязательно надо говорить? Или это я мешаю ему молчать?

— А помнишь, как она вязала целыми днями?

— Я помню, как она сослепу закапала глаза какой-то дрянью, и они чуть не вылезли у нее из глазниц, — резко ответил я.

— Да? — испугался отец. — Помнишь?..

Вино еще не допито. Бутылка стоит на скамье, и солнце то зажигает, то гасит в ней малиновый зрачок. Я встаю и иду по тропе, ускоряя шаг, и больше всего боюсь, что он остановит меня. И там, у края выросшего на трупах леса, за колючей проволокой ограды, сквозь зыбкую пелену, я вижу сизые волны обласканного солнцем и ветром клевера. Охряный дувал за полем, и город вдали. Он огромным белым кораблем с миллионами окон надвигается на меня, и больно видеть его белизну, как свет электросварки. Я курю, и руки противно дрожат...

Когда я вернулся, отец вырывал последнюю полынью на могиле матери. Он был спокоен и улыбался мне. Под глазами следы размазанной пыли и слез. Его пиджак словно год провисел в сарае, а могила — как оголенный срам.

— Здесь автобус ходит. До самого метро, — говорит он. — А я не знал. Спасибо, люди научили.

Я киваю, стараясь не смотреть ему в лицо.

— А эту дверь, — он подбоченился вдруг довольный, — ты зря тащил. Не уместится она.

Он словно рад тому, что не уместится.

— Но ничего. — Присаживается на скамью. — Сделаем. Все сделаем. И крест поправим, и стол поставим. Ничего... Эх, если б не ноги!.. — И вдруг совсем уж весело: — Великое дело — труд! Вот бежит, к примеру, заяц. Ну, бежит себе и бежит. Вдруг — собака. Он туда, он сюда, а она — за ним. Скок на кочку — достанет, скок на пенек — достанет, скок на нижнюю ветку, к примеру, — все, живым остался.

— И станет заяц обезьяной, — поддерживаю я, чтобы приятно ему было поспорить.

— А ты думаешь, как обезьянами стали? Не так? То-го!

Он доволен и пьян. Пустая бутылка лежит в куче вырванной травы.

— А я тебе скажу. Обезьяны ведь тоже — сперва только силу чувствовали. А почувствовали ум, так и послезали с деревьев. Что им, умным-то, на дереве сидеть? Не так?

Я давно не видел его таким счастливым. Одной рукой он хлопает меня по колену, а средним пальцем другой тычет себе в морщинистый лоб.

— Что им на дереве сидеть, сынок? Сам пойми. Когда они не только собаку, а и слона на себя работать заставят!

— Видел, — отвечаю и кладу на разрыхленную могилу оставшиеся яйца и конфеты. — Теперь они ходят с собакой и с ружьем, так что зайцам на ветках не отсидеться. Да и не им одним.

Он настороженно смотрит на меня и говорит другим, дрогнувшим от волнения, голосом:

— Ты это брось, сынок. Что ж теперь? Не о прошлом думать надо. Тебе жить надо.

— Я устал, отец.

— Дурак ты, — говорит он, поднимаясь. — Я-то думал, ты в меру пережил. — Отвернулся, смотрит через плечо и вдруг кричит озлобленно: — Так зачем же ты бабу за собой приволок? С животом! Навязалась? А теперь что — извини? Устал? А я не устал?..

Он бьет себя в грудь бледным кулаком, а над его головой китайский ясень раскачивает огромными реброподобными листьями. Он уходит.

Его еще можно остановить, уговорить, успокоить, но неприятно видеть, когда кого-то успокаивают, и уж совсем противно, когда уговарят. Я поднимаю с земли дверь, чтоб отнести ее на мусорную кучу...

Догнал я его у ворот. Он, прислонив клюку к трубе водопровода, долго очищал свой пиджак, умывался. Потом я приводил себя в порядок, а он сидел на скамье и трогал клюкой камешек на асфальте. С мокрыми лицами мы шли к остановке автобуса, ветер подхватывал пыль и гнал впереди. Тень трепыхалась, как черный лоскут под ногами, и тополя шатались и скрипели. В это время «ремни» акаций раскачивались бы на ветру. Но у них огромные острые иглы, а семена упакованы в сак — густой и сладкий, как сон. И висят они высоко. Никому и в голову не придет взобраться на ствол акации. А листочки маленькие и нежные. Листьев меньше и нежней мне видеть не приходилось. И тень под ними, словно грезы наяву.



В метро отца клонило в сон, и, чтоб взбодриться, он заигрывал с сыном красиво одетой женщины. Я закрыл глаза и стал думать о том, что все дети похожи. И все-таки те, кто живет в нищете, отличаются от тех, кто живет в достатке, и тем более от тех, кто в роскоши. Только и всего.

Дома нас встретила мать. Надю рвало в туалете. Я постоял в прихожей и вышел во двор. Был воскресный день. Мужики играли в домино, а девчонки — в классики. Пододеяльники то похабно надувались, то опадали. И снова вспомнилась бойня.

Того кабанчика ножом ветеринара лишили возможности творить, но он не утратил добродушия и здравого смысла. И потому, когда его волокли с машины по доскам, он хоть и кричал, но так, словно сам себя слушал. И пока били быков, он лежал со связанными ногами под желтеющим талом и похрюкивал. Небо было синим той осенней синевой, которая начинается сразу же у ресниц. А листья у тала были узкие и длинные, и некоторые, пока он лежал, опадали и с легким шелестом ложились рядом. Тал желтеть начинает снизу и изнутри, словно фонарь. Крона делается все легче и прозрачней, и видел я, как после первого снега, в хрупкий солнечный день, висят два-три листочка, удивительно желтых в истекающей бездной синеве.

Кабан забеспокоился, лишь когда его развязали. И то, лишь так, словно он уже знал, что его убийство давно искупилось каждодневным ведром помоев и убийством быть перестало. И ему даже не было важно, понимают это сами люди или нет.

Бойщик, кудрявый и тяжелый, словно мешок с песком, бросил окурок в желоб, нагнулся, поднял с земли кувалду и два початка кукурузы. Теперь было важно нанести удар как можно точнее, а кабану, если он все понимает, не отвести головы. Такая игра.

Бойщик бросил початки, и они упали перед розовым носом кабана, сухие и желтые, словно две фишки. И вот, когда они упали, кабан вздрогнул. Вздрогнул, напрягся и стал ждать. Но когда человек сделал вид, что его кабан не интересует, кабан сделал вид, будто хочет подобрать початок, теплый и душистый, такой, словно ласковое солнце осени, — а кувалда уже летела в его голову. Только и всего.

Даже если знаешь, что будет хуже, трудно не отпрянуть в последний миг. И ему было хуже. Ему было так плохо, что не дай Бог ни-

кому из живых. И если он нагадил в том дворе, то кто бы не сделал того же?

Ветер немного ослаб. Солнце садилось. Первые сухие листья платана ползали пауками по асфальту двора. Жена осторожно спустилась со ступеньки на ступеньку, подошла и села рядом.

